

Международная конференция  
**«Право свидетельствовать. Общественный статус  
свидетеля в эпохи перемен»**

(Центр литературных и культурных исследований  
им. Лейбница, Берлин, 22—24 июня 2023 года)

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_186\_2\_394

Конференция «Право свидетельствовать», прошедшая 22—24 июня 2023 года в Берлине, очень своевременно предоставила площадку для переработки и переосмысления ряда волнующих вопросов, относящихся как к истории XX века, так и к настоящему времени. В эпоху разгорающихся конфликтов «публичный статус свидетеля» подвергается новым интерпретациям.

Как точно заметила во вступительном слове организатор этой конференции *Ольга Розенблюм* (Центр литературных и культурных исследований им. Лейбница, Берлин, Германия), вопрос «Кто за кого говорит?» (Who speaks for whom?) в последнее время стал очень важным и породил новую рефлексию в разных научных областях.

Если в советских условиях ограниченная публичная сфера помогала государству в подавлении свидетельств, что привело к появлению полупубличной или неформальной сферы, то после распада СССР с открытием границ и переводом западных научных трудов на русский язык область изучения памяти закрепилась в историко-литературных исследованиях во всех бывших республиках Советского Союза.

С методологической точки зрения на современных теоретиков проблемы свидетельства наибольшее влияние оказали переводы работ Жака Деррида, Жана-Франсуа Лиотара, Примо Леви и Джорджо Агамбена. Эти исследования посвящены свидетелю как выжившему, свидетелю как жертве политического насилия и в целом невозможности полноценного свидетельства. Они поднимают такие темы, как недостаточный язык, лживый свидетель, а также свидетель как замещающий (substitute) тех, кто не выжил. Однако эти работы, как правило, сосредоточены на этических и политических вопросах, связанных со свидетельством и мало учитывают социальный статус свидетеля.

Несмотря на массив научных трудов, посвященных концептуализации понятия свидетельства, многие вопросы остаются открытыми и нуждаются в дальнейшей рефлексии. Двумя основными полюсами, определяющими направления и трактовку вопроса, являются политические суды и такие преступления против человечества, как голодомор, массовые убийства в Катыни и на Курапатах или блокада Ленинграда. Как заметила в своем выступлении *Аурэлия Калиски* (Центр имени Марка Блока, Германия), «при всем многообразии подходов к феномену массового насилия и множестве историко-культурных контекстов, в которых рассматриваются свидетельства, прежде всего право и история остаются центральными научными векторами для интерпретации прошлого и его интеграции в коллективную память». Конференция преследовала несколько тесно связанных между собой задач: во-первых, она стремилась к ясному и точному пониманию практик и форм свидетельства; во-вторых, к осмыслению продуктивности и жизнеспособности подходов, разработанных в рамках западной теоретизации свидетельских показаний, к специфическим обстоятельствам советской и постсоветской политических и правовых систем.

В рамках вышеуказанных задач четкая тематически ориентированная структура трехдневной конференции позволяет идентифицировать разные фокусы, вокруг которых развернулись сюжеты, затронутые ее участниками.

Доклады, прозвучавшие на конференции, охватили большой пространственно-временной срез: от начала XX века до сегодняшнего дня, и включили как отдельные кейсы, произведения или авторов, так и более широкие концепции относительно исторических и современных событий в Украине, Беларуси и России.

Весьма удачным оказался выбор основных спикеров: Аурелия Калиски, например, работает с такими темами, как политическое насилие, литература и свидетельство, история памяти и историография геноцидов и преступлений против человечества. Широкий научный межкультурный диапазон и междисциплинарный бэкграунд позволили А. Калиски рассмотреть советский опыт со стороны и соотнести его с сегодняшней ситуацией, продемонстрировав необходимость подвергнуть сомнению теории, связанные со свидетельством, точнее, с формами свидетельства, в свете последних трагических мировых событий. Другой ключевой спикер, искусствовед *Сандра Фриммель* (Цюрихский университет, Швейцария), много лет работавшая куратором и арт-критиком в Германии и России, представила фигуру свидетеля в контексте современного искусства. Фриммель разрабатывает новую категорию, пока еще не имеющую устоявшегося перевода на русский язык — *impact witness* («воздействующий свидетель») и указывает на эволюцию статуса свидетельства в новую эпоху, унаследовавшую советские практики, в контексте судебных процессов против организаторов выставок современного искусства в начале 2000-х годов.

В своем докладе *«Многомерность свидетельств. От Украины до Сири и обратно»* Аурелия Калиски сразу озвучила главную цель теоретиков и ученых, занимающихся темой свидетельства: «Пролить свет на слепые пятна истории прошлых форм свидетельства и разработать новые, более гибкие и актуальные способы мышления о настоящем для борьбы с политическим насилием». Политическое насилие в его связи с категорией свидетельства — главный объект исследования Калиски. Хотя историк Аннет Вивьерка совершенно права, рассматривая процесс над Эйхманом<sup>1</sup> как момент появления фигуры свидетеля на международном уровне или, скорее, в пространстве западного мира, в действительности *констелляция свидетельств* (как совокупность форм и типологий свидетельств), характерная для опыта политического насилия в начале XX века, возникла еще до 1960-х годов. По мнению Калиски, эта констелляция неотделима от появления с конца XIX века определенного устройства бюрократической государственной власти — национального государства и его специфической формы суверенитета, и, следовательно, прочно связана с утверждением определенной формы насилия, осуществляемого государствами во имя идеологии, которая, утверждает докладчица, отдаляет человечество от самого себя и от все возрастающего понимания важности юридического и историографического дискурсов, необходимых для оценки и анализа исторических событий.

Калиски также подчеркнула сложность в определении форм свидетельства, упомянув, что в теориях 1990-х и 2000-х годов часто проводится четкое различие между юридическим, историческим, этическим, или моральным, и религиозным свидетельствами. Эти различия, по мнению Калиски, очень важны для рассмотрения опасностей сведения свидетельства к диктату архива (когда важными признаются только документы, включенные в архив) или подчинения его западному закону доказательств. С другой стороны, какой бы полезной и даже концептуально необходимой ни была система противопоставлений между юридическими, историческими, этическими свидетельствами, способными принимать литературную форму, она в итоге не позволяет нам учесть разнообразие форм свидетельств, появившихся в обстоятельствах, отличных от тех, что характерны для послевоенных

---

1 *Wieviorka A. Le Procès Eichmann. Complexe, «La Mémoire du Siècle». Bruxelles, 1989.*

западных стран. Вывод для Калиски очевиден: подход к этим текстам и документам с эпистемологической точки зрения означает приобретение инструментов, которые в основе своей являются междисциплинарными и могут помочь преодолеть фундаментальное деколониальное измерение той парадигмы, которая и сегодня господствует среди теоретиков свидетельства.

Другой значительный момент, подчеркнутый исследовательницей, — это переход от теоретизирования, сосредоточенного на индивидуальных голосах свидетелей, к герменевтике, учитывающей коллективную ценность опыта свидетельства: «Это коллективный голос одного ядра, состоящего из множества отдельных голосов, которые затем представляют собой множественность форм морального и духовного сопротивления свидетеля или, напротив, разнообразие форм насилия, которому он подвергается».

Репликами на последнее замечание открылась оживленная дискуссия, в которой под вопрос была поставлена граница между коллективным и индивидуальным свидетельствами и добавлено важное уточнение: коллективное свидетельство никогда не ставит под сомнение право или возможность свидетельствовать, в то время как западный подход, основанный на индивидуальном свидетельстве, ставит под сомнение саму возможность такой практики.

Тем не менее участники дискуссии признали, что остается проблематичным, особенно в деколониальной перспективе, навешивать ярлыки, такие как свидетель, на авторов или группы, которые не чувствуют себя таковыми (например, А. Солженицын говорит о себе как об историке, который проводит исследование, а не как о свидетеле, который дает показания).

Отвечая заявленному в программе конференции хронологическому порядку, первое заседание было посвящено показательным процессам в СССР в 1930-е годы. В нем рассматривались три примера: Московский процесс, процесс по Шахтинскому делу 1928 года и процессы в сельском хозяйстве БССР.

Анне Хартманн (Рурский университет, Германия) в своем докладе «*Свидетели обвинения. Свидетельства западных интеллектуалов о московских показательных процессах*» акцентировала внимание на театральном характере московских показательных процессов и их воздействии на наблюдателей. «Если у них были документы и свидетели, почему они держали документы в ящике, а свидетелей за кулисами, довольствуясь невероятными признаниями?» — этот главный вопрос задал наблюдатель второго московского процесса Лион Фейхтвангер в своем нашумевшем путевом очерке «*Москва 1937*». Несмотря на то что писатель был апологетическим комментатором, приверженным советской идеологии, его описание московских процессов было прозорливым, а замечания об инсценировке процесса — верными. Для него было важно качество представления, игра на сцене, звучание голосов, а не убедительность обвинений или обоснованность аргументов.

Как справедливо отметила Хартманн, в Советском Союзе пропагандистский потенциал театрализации правосудия или, точнее, распространения большевистских политических и правовых идей театральными средствами был осознан довольно рано: вспомним популярные агитсуды 1920-х годов и их трехчастную обязательную финальную формулу — признание, покаяние и возвращение в лоно общества, — которая должна была вселить надежду в обвиняемых.

По мнению второго докладчика, Лоренца Эррена (Майнцский университет имени Иоганна Гутенберга, Германия), чье выступление носило название «*Легитимность должной процедуры? Роль свидетельских показаний в политических процессах при Сталине*», возбужденное Шахтинское дело и соответствующий процесс 1928 года — это, вероятно, последний пример, когда целью партии было сохра-

нение фасада «надлежащей процедуры». Адвокаты по-прежнему вели себя в соответствии со своей традиционной ролью: они старались использовать доступные, но все более сокращающиеся возможности, чтобы поставить под сомнение достоверность свидетельских показаний и побудить подсудимых отказаться от признаний, сделанных на более ранних стадиях обвинения. Однако, как продемонстрировала в предыдущем сообщении Анне Хартманн, в московских показательных процессах 1936—1938 годов различие между фактической и символической юрисдикцией, между правосудием и театром было полностью стерто, процесс стал, если можно так сказать, еще более показательным: каждый принял свою роль.

Оба докладчика сосредоточились на эффекте и влиянии показательных процессов на Западе. Так, Хартманн упомянула, что документы, речи и другие тексты были напечатаны в немецких газетах и, по ее словам, имели сокрушительный эффект на Западе, например для социал-демократов и коммунистов, которые пытались наладить диалог, но понимали, что после таких судов это невозможно. Эррен же предложил по-новому взглянуть на Шахтинский процесс благодаря расширенной базе источников: он рассмотрел почти 2000 страниц документов, собранных С. Красильниковым<sup>2</sup>, а также обратился к онлайн-архивам зарубежных газет. В частности, он уделил внимание тридцати статьям из «New York Times» о Шахтинском процессе, написанным в 1928 году Уолтером Дюранти (1884—1957), который представил совсем другую картину роли свидетелей и адвокатов во время процесса и в основном высмеивал процесс как безумное шоу: свидетелей обвинения запугивали, подкупали или пытали, честили «иудами», «каинами», «негодьями».

Оба докладчика видят Сталина в таких процессах политическим победителем. Завершением Шахтинского дела, несмотря на все странности и неловкости, стал приговор основных обвиняемых к тюремному заключению, команда Бухарина не осмелилась оспаривать сталинские нарративы. По мнению Хартманн, Сталину удалось отвлечь внимание от своих неудач и экономических трудностей, в том числе благодаря соучастию публики.

Как показало выступление *Ирины Раманавы* (Гисенский университет имени Юстуса Либиха, Германия) «Свидетельство на показательных процессах по сельскому хозяйству в БССР (1937—1939)», такая же театрализация была заложена и в других показательных процессах, проходивших по всему Советскому Союзу. Главные вопросы, которыми задалась докладчица: какова была роль свидетелей в этих процессах? как и когда свидетели могли выступать? Судебные процессы в БССР стали результатом кампании, развернутой по всей территории страны против людей, отвечающих за сельское хозяйство, которым вменяли в вину разжигание недовольства крестьян. Согласно документации, крестьяне были готовы к этим процессам, были собраны материалы против местных лидеров, с которыми они были знакомы, а пресса участвовала в подготовке судебных процессов. По мнению докладчицы, любая возможность импровизации была исключена, обвинения уже были выдвинуты, мнимые виновные найдены. Схема была очень стандартной, а итоги предсказуемы: подсудимые признавались врагами советского народа, шпионами, обижавшими крестьян и готовившими саботаж против советской власти.

Следующие секции были посвящены периоду после Второй мировой войны. В центре внимания оказалась тема голодомора, увиденного через призму двух очень разных фигур: *Виктория Суковата* (Институт еврейской истории и культуры имени

2 Шахтинский процесс 1928 г.: подготовка, проведение, итоги: В 2 кн. / Под ред. С.А. Красильникова. М.: РОССПЭН, 2010—2011.

С. Дубнова, Германия) в докладе «*Врач-партизан Альберт Цессарский и его свидетельства о холокосте в Украине*» рассказала историю врача-партизана А. Цессарского, а Анна Красникова (Католический университет, Италия) сделала сообщение на тему «*Эволюция в редакции книги Василия Гроссмана “Все течет”*», представив попытку анализа книги Гроссмана «Все течет» (1980), в которой писатель открыто затронул такие темы, как голодомор и значительную роль не только Сталина, но и Ленина в государственном терроре.

Врач-партизан Альберт Цессарский написал документальную повесть и другие произведения, посвященные теме голода на Украине. Его «Записки партизанского врача» были подготовлены на основе записей, которые Цессарский вел во время войны в партизанском отряде, опубликованных в 1956 году. По мнению докладчицы, «Записки» стали основой для всей последующей литературы свидетельств о холокосте. В этом романе Цессарский продемонстрировал особую субъективность, представив себя не как еврейскую жертву, а как одновременно советского бойца и еврейского человека, который описал увиденное им в своих записках. При этом главная ценность «Записок», помимо ряда художественных достоинств, заключается в том, что это документ эпохи, личное повествование советского еврей-бойца на войне и одно из самых ранних размышлений о холокосте и послевоенном советском еврейском населении. Его книга стала свидетельством присутствия темы холокоста в советской литературе и доказательством связи холокоста и уничтожения украинского, русского, белорусского<sup>3</sup> народов.

В своем выступлении Анна Красникова постаралась показать, как изучение всех версий произведения Гроссмана «Все течет» может выявить причины его необычной структуры, а также доказать желание писателя превратить книгу в личное свидетельство.

Благодаря цифровым инструментам и данным, извлеченным из разных текстовых корпусов, исследовательница смогла сравнить две основные версии романа: первую, написанную в 1955 году, и вторую, завершённую незадолго до смерти Гроссмана в 1964 году. Вторая версия намного длиннее первой, содержит больше нехудожественных частей и в большей степени вводит новаторские темы. Прочитав и расшифровав все, в том числе «промежуточные» версии и сравнив структуру текста, команда исследователей, в которую входила докладчица, смогла полностью восстановить текст и выделить части, добавленные Гроссманом позднее.

По мнению Красниковой, Гроссман хотел использовать предыдущую версию романа как основу, чтобы донести до читателей свои мысли и свидетельства. Добавленные части можно разделить на два основных типа: первый представляет собой свидетельства ужасов и страхов того времени, второй — исторические и философские размышления. Интересно, что слово «страшный» появляется в списке наиболее употребимых прилагательных только во второй версии, состоящей из 27 глав, и сосредоточено в новых вставках-свидетельствах. Поэтому, заключила докладчица, новые части «Все течет» — это не только свидетельства об ужасах первых 30 лет советской эпохи, но и свидетельства о страхах, царивших в то время.

В следующих секциях вопрос свидетельств о репрессиях сталинской эпохи рассматривался не через конкретные тексты, а глазами двух основополагающих авторов этой тематики: Варлама Шаламова и Алеся Адамовича. Трое докладчиков, обратившихся к проблеме свидетельства в творчестве Шаламова, являются очень известными специалистами по его художественному и интеллектуальному наследию.

---

3 Форма «беларуский» выбрана автором намеренно. — *Примеч. ред.*

Франциска Тун-Хоэнштайн (Центр литературных и культурных исследований им. Лейбница, Германия) и Люба Юргенсон (Университет Сорбонна, Франция) представили доклады под общим названием «Перспективы чтения литературных свидетельств о ГУЛАГе: биография, контекст и литературные стратегии на примере Варлама Шаламова». В частности, исследовательская гипотеза Тун-Хоэнштайн заключается в том, что Шаламов развил и отточил свою концепцию прозы как документа через критическое взаимодействие с современными ему советскими литературными дебатами о документальном письме 1950—1960-х годов, выявив их фундаментальные недостатки путем переформулирования некоторых понятий. Цель Шаламова при этом — обработать литературное слово таким образом, чтобы оно соответствовало статусу свидетельства. Иными словами, придать литературе новую *достоверность* после того, как произведения социалистического реализма сталинской эпохи обманывали читателя и выдавали образы политически желаемого мира за реальность. По мнению Шаламова, это была ключевая проблема, не только эстетическая, но прежде всего этическая, художественного письма в целом. Учитывая терминологию Шаламова и его концепцию, выраженную в таких словах, как «документарность» и «точность», Тун-Хоэнштайн показала, что писатель понимал свою прозу и теоретические размышления как полемическое вмешательство в современную ситуацию русской литературы. Докладчица обратила внимание на дискуссию, развернувшуюся в 1950—1960-е годы вокруг понятия «искренность», очертив круг авторов, принимавших в ней участие, и убедительно объяснив позицию Шаламова, который, по мнению Тун-Хоэнштайн, превратил свою аргументацию в значимое размышление о художественной правде. В основе его поиска новых повествовательных форм для описания событий в лагерях лежало осознание того, что существует разница между правдой в искусстве и правдой в реальности. По его мнению, автор должен исследовать жизнь на собственной шкуре и превратить ее в искусство, а конечным объектом является не историческая верифицируемость повествования, а художественная убедительность повествовательного текста. Иными словами, отмечает Тун-Хоэнштайн, «в своем диалоге с читателем Шаламов опирается на эпистемический потенциал повествовательной прозы». В этом контексте цель «Колымских рассказов» становится более понятной: рассказать истории, в которых лагерный опыт (то, что было «выстрадано») словесно ступается таким образом, что выходит за рамки личного. Шаламов хотел компенсировать отсутствие реальной дискуссии о литературном письме после Колымы, Освенцима и Хиросимы с помощью «Колымских рассказов» и теоретической аргументации, которую можно интерпретировать как прямое полемическое вмешательство в современные дебаты о документальном письме.

Если доклад Тун-Хоэнштайн был сосредоточен на дебатах в Советском Союзе, то выступление Любы Юргенсон было посвящено предполагаемым связям, которые можно обнаружить между Шаламовым и Западом. Не фокусируясь на выявлении реальных случаев взаимодействия русских и французских интеллектуалов, докладчица постаралась показать, как определенные модели мышления формировались и проявлялись в различных контекстах. В частности, на примерах книг Робера Антельма «Род человеческий» (1947) и Мориса Бланшо «Литература и право на смерть» (1948) докладчица показала, как они повлияли на мышление М. Фуко и идеи, высказанные в его знаменитой лекции «Что такое автор?». Лекция была прочитана в Философском обществе в том же 1969 году, когда С. Беккету была присуждена Нобелевская премия по литературе, вдохновившая Фуко на исследование понятия автора. Известно, что Шаламов положительно откликнулся на присуждение награды С. Беккету, признавая, что «за Беккетом литературная правда сегодняшнего дня». Докладчица предположила, что слова Фуко, обращенные к Бек-

кету, могли быть адресованы и Шаламову, хотя маловероятно, что французский исследователь читал его работы в конце 1960-х годов («Колымские рассказы» появились во Франции в 1969 году).

Принимая во внимание транснациональное содержание, более отдаленные об- щие источники и сопоставимые исторические ссылки, Юргенсон предположила, что можно обнаружить соответствия, которые, в свою очередь, помогут исследова- телям увидеть литературное свидетельство не как чистое подтверждение истины, а «как сложную конструкцию, требующую изучения не только непосредственного культурного окружения свидетеля, но и, в более широком смысле, транснацио- нальной циркуляции идейных течений и косвенных, анахроничных смысловых передач».

В заключительной части секции *Елена Михайлик* (Университет Нового Южно- го Уэльса, Австралия) представила доклад «*Письмо старому другу — кому оно адресовано?*», вернув слушателей в советский контекст с помощью оригинальной темы — поиска реального адресата «Письма старому другу», написанного В. Ша- ламовым в феврале 1966 года. Как известно, на «процессе четырех», по приговору суда, текст был признан антисоветским. По мнению Михайлик, такой вердикт яв- ляется косвенным доказательством высокой оценки текста своим «адресатом» — той самой средой, на которую пытался воздействовать автор. По свидетельствам современников, Шаламов принимал активное участие в событии: читал самодель- ные стенограммы процесса, присутствовал при обсуждениях и на общественных выступлениях — и до поры хранил молчание. Если поверхностно прочитать «Пись- мо», то позиция автора в нем может показаться внутренне противоречивой. Ша- ламов считал «процесс четырех» 1968 года примером физического государствен- ного террора, а Ю. Даниэля и А. Синявского — героями этого события. Однако он отмечал, что такого рода героизм был обусловлен трансформацией властей, не ре- шившихся переступить условную границу зла. Наконец, Шаламов ставил в заслугу обвиняемым то, что они «сумели удержать процесс на литературоведческой грани, в лесах гротеска и научной фантастики, не признаваясь и не признавшись в анти- советской деятельности, требуя уважения к свободе творчества, к свободе совести». По мнению докладчицы, в рамках письма никакого противоречия нет, а скорее речь идет о разных гранях одной позиции.

Другим масштабным автором, без которого невозможно обойтись, когда речь идет о документальной прозе, является Алесь Адамович — основоположник жанра, основанного на многоголосых свидетельствах выживших, открывший новый под- ход к литературному свидетельству не только в советской литературе. В книге «Я из огненной деревни...» (1975) Адамович и его коллеги Янка Брыль и Уладзмир Ка- лесник дали возможность высказаться выжившим жителям Хатыни и других де- ревень, сожженных немцами в 1941—1943 годах, и собрали эти свидетельства в по- лифоническую книгу. Для этого метода Адамович придумал различные термины: «эпически-хоровая проза», «роман-оратория», «соборный роман», «магнитофон- ная литература». Несколько лет спустя он развил свой метод в «Блокадной книге» (1977—1982), в которой в соавторстве с писателем Даниилом Граниным собрал го- лоса и свидетельства людей, переживших блокаду Ленинграда. Доклад «*Расска- зывать историю снизу. О концепции живого свидетельства в творчестве Алеся Адамовича и в дискурсе о шестидесятниках*» *Нины Веллер* (Центр литературных и культурных исследований им. Лейбница, Германия) был посвящен сравнению Адамовича с Шаламовым и Гроссманом, с целью подчеркнуть различие их подхо- дов. Если Гроссман продолжал выбирать традиционный путь художественной мас- штабной прозы, то для Шаламова письмо было возможно только через отказ от прежнего языка и литературы в процессе самого писания. По мысли Веллер, подход

Адамовича — путь между этими двумя полюсами: с помощью концепции «сверх-литературы» и письма, основанного на «живой памяти / живом свидетельстве», он отошел от традиционных литературных моделей, но не отказался полностью от концепции авторства.

Веллер рассмотрела литературный путь Адамовича и его теоретические высказывания о роли литературы в контексте исторических событий и о художественном методе работы со свидетельствами. В основе сборника воспоминаний «Я из огненной деревни...» и «Блокадной книги» лежат две фундаментальные проблемы: с одной стороны, поиск и сбор личных историй, чтобы «сохранить всю правду о войне от забвения» и персонифицировать места памяти о Хатыни и блокаде Ленинграда как документальную трагедию. С другой стороны, передача «живых голосов людей» несла миссию коллективного просвещения о забытых и репрессированных жертвах травмы советской, национальной (российской, белорусской) и не в последнюю очередь европейской истории. Голосам выживших, таким образом, придается моральный вес в передаче «исторической правды», они же — «свидетели правды». Сам Адамович вместе с Граниным (и другими авторами) понимал свою работу прежде всего как возможность решить гуманистическую, моралистическую задачу, которая не отказывается от авторства и направлена на то, чтобы передать читательской аудитории непосредственную достоверность. Докладчица же пошла дальше и попыталась рассмотреть этот метод с позиции свидетеля, так как Адамович выступает не просто посредником, но и «защитником» очевидцев. Таким образом, только став частью хора голосов, индивидуальные голоса этих людей могут быть перенесены из зоны неслышимости и невидимости в книгу, обращенную к публике. Перенос акцента на читательскую аудиторию — не только советскую, но и мировую — позволяет обратить внимание на ее позицию по отношению к свидетелю: косвенным способом, заключает Веллер, «читательской аудитории приписывается статус суда, перед которым выступают оставшиеся в живых свидетели, рассказывая о страданиях и несправедливости, пережитых ими, их семьями и соседями, и выдвигая тем самым требования признания и справедливости».

Акцент, сделанный на читателе, становится еще очевиднее при сопоставлении двух произведений, которое провела в своем докладе «Документальная проза Алеся Адамовича: сравнение “Хатынской повести” (1972) и повести “Каратели: Радость ножа, или Жизнеописание гиперборцев” (1981)» Филине Бикхардт (Цюрихский университет, Швейцария). Первая книга описывает события с точки зрения ветеранов и выживших жителей Хатыни и ее окрестностей после вступления немецких войск в деревню в марте 1943 года. Книга «Каратели», вышедшая почти десять лет спустя, также была посвящена уничтожению белорусских поселений, но еще более радикальна и предоставляет возможность описания переплетения документальных и вымышленных материалов, а также пересечения точек зрения преступников и жертв: здесь высказываются виновники и палачи — и это очень смелое, но далеко не бесспорное начинание. Бикхардт показала, что изменение представления о статусе и законности свидетельских показаний напрямую влияет на изменение литературной формы, в котором представлено свидетельство.

Последняя секция второго дня была посвящена теме «Свидетели нового поколения. Литературные и иные пространства для свидетельства в 1950—1980-е годы». Эта секция, пожалуй, более разнородная по содержанию, чем все остальные, включила в себя: сравнительный анализ книги «Суд идет» (1969) Абрама Терца / Андрея Синявского и гораздо менее известного произведения «Медная лошадь и экскурсовод» (2005) Бориса Иванова, рассмотренные через категорию Другого в понимании психоаналитической теории Лакана; исследование политики памяти в Рос-

сийской Федерации на примере судебного процесса, состоявшегося 20 октября 2022 года, о признании блокады Ленинграда актом геноцида; изучение мемуаров советских диссидентов для переоценки этого наследия и его дальнейшего анализа. Таким образом, на примере этих кейсов были затронуты такие важные для понимания свидетельства темы, как онтологический статус свидетельского письма (Максим Лепехин, Дрезденский университет, Германия), отношение российского политического дискурса к политике памяти в современной России (Татьяна Воронина, Цюрихский университет, Швейцария) и трансформация свидетельства при изменении востребовавшего его контекста (Энн Комароми, Университет Торонто, Канада).

Главный тезис доклада «Свидетельства в присутствии Другого: советский субъект на суде» Максима Лепехина заключался в том, что и Синявский, и Иванов рассказывали историю преследования, будучи сами преследуемы «контекстом», в котором они писали, и именно ситуация, контекст — понимаемый в лакановских терминах как Другой — заставлял их писать так, как будто они были уличены в бездействии, когда требовалось их слово.

Татьяна Воронина в докладе «Свидетельство как политический акт: ленинградские общества выживших и советская политика памяти» представила тщательную реконструкцию судебного процесса, состоявшегося в 2022 году и приведшего к признанию блокады Ленинграда геноцидом. Этот процесс показывает изменение восприятия статуса «русского народа» — от героя к жертве. Проанализировав и сам процесс, и его контекст, Воронина пришла к следующим выводам: 1) происходящие в России судебные процессы о геноциде военного времени переворачивают страницу в политике памяти о войне, и либо советская память окончательно уходит в прошлое, либо сильно трансформируется в свете современных проблем; 2) судебные процессы о геноциде начались как реакция российского руководства на текущую ситуацию; 3) социалистический реализм больше не доминирует в нарративах молодого поколения; 4) признание блокады геноцидом представляет собой некоторую демократизацию политики памяти в России.

Столь прямолинейные оценки вызвали оживленную дискуссию, поскольку многие участники конференции выразили сомнение в демократизации политики памяти в современной России и указали на новый поворот в войне за память, состоявшийся в середине 2010-х годов и приведший к значительному переосмыслению исторической памяти страны.

Исследование Энн Комароми, представленное в докладе «Мемуары диссидентов как свидетельство» видится весьма многообещающим благодаря методологическому подходу, который отталкивается от замечания американского историка Бенджамина Натанса: «Менее зависимые от диссидентов в плане получения исходной информации об истории [диссидентства], мы теперь в некотором смысле можем читать их мемуары именно как мемуары, то есть как сконструированные нарративы, и ставить перед ними различные вопросы». Пример мемуаров Елены Боннэр «Alone together» (1986), рассмотренных в докладе, указывает на плодотворность такого направления. Потребуется некоторое время, чтобы разработать конкретные траектории и дать им научно фундированные объяснения, но предпосылки обнадеживают, в том числе и потому, что корпус работ, находящихся в центре исследования, до сих пор недооценивался специалистами-историками.

В шестой секции конференции первое выступление было вновь посвящено Андрею Синявскому. На этот раз Наталья Борисова (Тюбингенский университет, Германия) в своем докладе «В поисках реальности: “Голос из хора” Андрея Синявского» сосредоточилась на анализе произведения «Голос из хора» (1973): сложном, по

мнению многих специалистов, тексте, не имеющем линейного сюжета и состоящем из впечатлений, фрагментов, антропологических наблюдений и литературных реминисценций. Борисова попыталась ответить на вопрос, почему мы можем говорить о текстах Синявского как о «текстах-свидетельствах», то есть текстах, моделирующих специфические отношения между переживающим и говорящим субъектом и создающих определенную эквивалентность между переживанием и его нарративизацией. Борисова обозначила метод, используемый Синявским для рассказа о собственном опыте пребывания в лагере, и провела четкое различие между писателями-диссидентами и писателями ГУЛАГа. По ее мнению, в отличие от Евгении Гинзбург или Варлама Шаламова, Синявский не стремился рассказать, «как все было на самом деле», а предложил иную эстетическую парадигму повествования о личном опыте, в которой опыт принципиально важнее его репрезентации в тексте. В качестве свидетеля Синявский отказывается от статуса абсолютного знания, а как художник — от возможности передать и репрезентировать это знание. Именно поэтому он отвергает и соцреализм, и реализм в целом, и не склонен верить ни в трансформационную репрезентацию жизни, ни в ее реалистическую репрезентацию, как предполагают эти две модели соответственно.

То, чего Синявский добивается в «Голосе из хора», по мнению докладчицы, — это глубокая критика советской эстетики, представление радикально противоположного проекта, в котором свидетельские предпосылки текстов отказываются от традиционных черт свидетельства, таких как биографическое самопозиционирование или претензия на реалистическую репрезентацию, и предлагают вместо этого своего рода нарратив, фиксирующий эстетику опыта в процессе наблюдения.

Интересная дискуссия после выступления сосредоточилась на аспекте, который был кратко упомянут в докладе, а именно на восприятии Синявским лагеря как «положительного опыта», что кажется весьма проблематичным и «настораживающим», по выражению самой исследовательницы. Рефлексия по поводу «ориентализации» лагерного опыта, которая, по мнению Борисовой, является нарративной рамкой, использованной Синявским, указывает на колониальный подход автора к теме. Однако, как заметила докладчица, такая конструкция восходит к давней литературной традиции, в том числе советской, которую Синявский возобновляет.

Разговор о видах свидетельства в культуре диссидентства продолжился в следующем докладе, в котором Ольга Розенблюм рассказала об открытых письмах и записях судов и попыталась доказать прочную связь между понятиями «свидетельство» и «общественность» на материале «суда четырех» и судебного процесса против И. Бродского. Принимая во внимание «процесс четырех», Розенблюм подчеркнула важность письма П. Литвинова и Л. Богораз «К мировой общественности» (1968), с помощью которого Литвинов развил свою идею о создании общественности, альтернативной советской, позаимствовав у советской риторики слово-клише «общественность» и наделив его новым содержанием. Для достижения такой цели Литвинов и Богораз как будто примиряют на себя разные роли (квазисвидетелей, авторов-составителей). Интересно, что они не присутствовали в зале суда, хотя в письме подробно изложили ход процесса, в частности о правонарушениях законодательства, жертвами которых стали подсудимые и свидетели защиты. Но Литвинов был у здания суда и разговаривал с теми, кто оттуда выходил, а Богораз говорила со своим сыном, который был у здания суда и, в свою очередь, общался со свидетелями защиты. Однако авторы берут на себя ответственность за точность свидетельства о свидетелях, хоть и никак не поясняют и не отстаивают свое право на это свидетельство. Можно предположить, что удостоверением точности их утверждений является степень риска, на который они идут. Реконструкция записей суда обусловлена также памятью свидетелей защиты, которые собирались после

каждого заседания и восстанавливали по памяти сказанное всеми участниками процесса. Таким образом, прямые и непрямые свидетели выполняли функцию общественного контроля.

Процесс над молодым писателем Бродским тоже представляется интересным в свете размышлений об общественности. Как правильно заметила Розенблюм, в этом не уголовном, но и не общественном суде свидетелями были тем не менее представители общественности. Они не были свидетелями события, более того, самого события (преступления или правонарушения) не было: как известно, вопрос, вокруг которого развернулось заседание, касался предполагаемого тунеядства Бродского. Свидетели защиты, однако, пришли свидетельствовать об образе жизни литератора — и тем самым они повторили ход свидетелей обвинения. Столь необычный тип свидетельства напрямую связан с понятием «общественность»: не с конструированием общественности нового типа, как в письме Литвинова и Богораз, но с поиском обоснования собственного права на свидетельство.

Розенблюм обратила внимание и на выписки из стенограммы суда, которые во время заседания в Союзе писателей Ленинграда, состоявшегося уже после суда над Бродским, стали поводом для вынесения выговора литераторам, выступившим на суде свидетелями защиты, и на записи, сделанные Ф. Вигдоровой и отправленные редактору «Литературной газеты» А. Чаковскому и генеральному прокурору СССР Р. Руденко. Тщательное изучение такого рода материалов позволило отразить и проблематизировать вопрос о праве на свидетельство в середине 1960-х годов и рассмотреть поиск инстанции, заверяющей право на свидетельство, в качестве одного из значимых факторов этой проблематизации.

Связь между свидетельством и историческим контекстом, в котором свидетельство возникает или перерабатывается, оказалась в центре внимания доклада *Аники Вальке* (Университет Вашингтона в Сент-Луисе, США) «*Свидетель геноцида в эпоху авторитаризма: свидетельства о холокосте в Беларуси*», открывшего седьмое заседание конференции, носившей название «Свидетельства о/в ситуациях насилия: Прошлое и настоящее в современной Беларуси». Вальке сформулировала два главных вызова, касающихся свидетельства о холокосте: 1) кто за кого говорит? 2) как и на что влияет недавняя инструментализация трагедии холокоста и свидетельств о нем в современном белорусском режиме?

Относительно первого вопроса Вальке отметила, что мы переживаем переходный момент, потому что выжившие почти все умерли, и теперь мы имеем дело со свидетельствами «второй степени». Второй вопрос имеет решающее значение в белорусском контексте, где мы можем наблюдать задействование свидетелей в других целях, например когда правительство хочет доказать геноцид белорусов во время Второй мировой войны.

Вальке проследила историю ряда проектов, которые собрали и систематизировали огромный массив текстов со времен перестройки с акцентом на местный контекст и местный опыт. Эти документы помогли реконструировать события, заполнили пробел в общественной памяти и историографии и могли быть использованы также в правовых рамках для интеграции различных свидетельств о холокосте, включая свидетельства выживших. Коллекции видеоматериалов также помогли восстановить историю и предоставить информацию о локациях самого события. Ситуация радикально изменилась, когда правительство начало регулировать доступ к информации о свидетельствах холокоста. Новые систематические исследования утверждались для совершенно разных целей. Вальке привела пример новых интервью в 2018 году с государственно утвержденными списками людей, которые предполагалось опросить при посредничестве «агентов безопасности». В то же время материалы и документы, спонсируемые и распространяемые

властями, не являются публичными: архив Генеральной прокуратуры Республики Беларусь полностью закрыт для ученых.

Современная Беларусь также оказалась в центре внимания выступления *Ирины Кашталян* (Бременский университет, Германия), рассмотревшей 37 интервью о политической эмиграции из Беларуси. Интервью проводились на русском и белорусском языках, в режиме онлайн и офлайн, со свидетелями, родившимися в период с 1947 по 1998 год и проживающими сейчас в разных странах Европы и Америки. Кашталян рассказала о формате интервью и реакции интервьюируемых, подчеркнув тем самым главную функцию устной истории — дать представление о том, как общество воспринимает то или иное явление, событие. Примеры показывают разное отношение к действиям режима и разные стратегии переживания этого опыта. Важно отметить, что воспоминания собирались вплоть до конца 2022 года, в процессе событий. Более поздние свидетельства, добавляет Кашталян, покажут дополнительные перспективы, возможно, будущие интервью с теми же респондентами продемонстрируют динамику изменения отношения к теме. Но, как отметила докладчица, фиксация в настоящий момент важна для большей детализации впоследствии.

Два выступления последнего заседания конференции, не имевшего точного названия, но вполне подходящего под определение «новые звуки и новые слова для бесконечного насилия», органично подхватили многие темы, затронутые в предыдущих секциях. В своем основном докладе, открывавшем конференцию, Аурелия Калиски заявила, что «распространение в глобальном масштабе информационных текстов и фото-, а вскоре и киноизображений опыта насилия также имеет решающее значение для понимания условий появления современной фигуры свидетеля». Этот тезис оказывается верным и для фильмов Сергея Лозницы, снятых всегда на грани художественности и архивной документалистики.

Творчеству режиссера был посвящен доклад «*Правильно ли я услышал? Звучащие архивные образы в фильме Сергея Лозницы “Бабий Яр. Контекст” (2021)*» Даниэля Шварца (Макгиллский университет, Канада), который сосредоточился на звуке в архивном документальном фильме Лозницы. Звуковая тема киноленты часто недооценивается, но, по мнению Шварца, она важна для понимания стратегии Лозницы и его работы с архивным изображением как формой постсвидетельства. В частности, докладчик обратил внимание на технику добавления квазииндексальных звуков (таких как смех и хлопки, а также бормотание или диалог). Это звуки, которые кажутся частью исторического изображения, но на самом деле записаны в современных студиях или заимствованы из других источников, например звуковых библиотек. Такой прием, по словам Лозницы, призван «погрузить зрителя в атмосферу того времени». Другими словами, режиссер намеренно создает эффект реальности, который позволяет воссоздать условия определенного документального жанра (обозначаемого как «observational cinema») в ущерб достоверности самих архивных изображений. Эпистемическая нагрузка свидетельства ставится под сомнение и в выступлении *Джулии Де Флорио* (Государственный университет Пармы, Италия), сфокусировавшейся в своем докладе «*Право говорить правду: последние слова обвиняемых в современном российском суде*» на «последних словах» подсудимых в России, признаваемых правозащитными организациями заключенными по политическим мотивам. В основу исследования был положен сборник «Сохрани мою речь», изданный в 2022 году, в котором собраны 25 «последних слов», высказанных в российских судах за период с 2017 по 2022 год.

В своем выступлении Де Флорио обсудила два основных вопроса: как рассматривать речи подсудимых с эпистемической точки зрения и какого рода свидетель-

ства они собой представляют. В теоретизации этих вопросов двумя важнейшими элементами являются категории искренности и истины. Как утверждает американский философ и исследователь Миннесотского университета Бенджамин Макмайлер, юридический свидетель не предоставляет никаких особых свидетельских знаний (testimonial knowledge), такому свидетелю не доверяют «вслепую», ведь его/ее личная достоверность и пропозициональная согласованность исчерпывающе проверяются судом. Однако докладчица отметила, что Макмайлер не принимает во внимание идеологически предвзятые суды авторитарных режимов. В этом контексте мы часто имеем дело с ложными или, по крайней мере, «скомпрометированными» свидетелями и экспертами: во многих политических делах их физически принуждают, либо они остаются анонимными, либо просто коррумпированы. С другой стороны, это парадоксальным образом повышает доверие к обвиняемым как к носителям правды не только с юридической точки зрения, но и с точки зрения моральной ответственности и этики.

Более того, в словах подсудимого правда не просто дискурсивна. Она в значительной степени зависит от условий, в которых эти речи производятся и произносятся. Здесь важно не только лингвистическое высказывание, сам человек играет важную роль при описании того или иного события, которое должно быть засвидетельствовано. В связи с этим, чтобы проанализировать последние слова с эпистемологической точки зрения, следует обратить внимание на разные факторы: контекст, в котором произносятся эти речи, их содержание и функции, статус и стиль говорящего, а также роль адресата/слушателя. Проанализировав каждый из этих элементов, Де Флорио завершила выступление открытым вопросом о возможности применения модели свидетельства от первого лица, разработанной Сибилле Крамер, к последним словам политических заключенных. Модель исходит из того, что эпистемологическая зависимость является составным элементом эпистемологической ситуации человека. Именно перформативная сила речи свидетеля определяет ее статус как знания; под «перформативной силой» здесь понимается социальное отношение, связывающее свидетеля и адресата свидетельства друг с другом, в той мере, в какой аудитория вступает со свидетелем в интересубъективные отношения доверия, аутентификации и аккредитации. Этот вопрос остается открытым и должен стать объектом дальнейшего исследования.

Еще одной ключевой фигурой в политических процессах является свидетель обвинения, который стал объектом исследовательского интереса в другом основном докладе *«Театральные показания. Подготовка свидетелей от ранних советских инсценированных процессов до Петра Павленского»* Сандры Фриммель, представленном в финале конференции. Фриммель посвятила множество работ изучению судебных процессов над художниками, кураторами и выставками в России в период с 1999 по 2015 год и той решающей роли, которую в ходе их проведения сыграли свидетели.

Докладчица сфокусировалась на театральных практиках подачи показаний в контексте современного искусства и на конкретном типе свидетелей, порождаемых этими практиками. Для того чтобы обрисовать достоверную картину и правильно поставить вопрос, исследовательница обратилась к советским процессам первой половины XX века, чьи приемы и стратегии были применены в наши дни.

Суды над организаторами двух выставок, оба показанные в Сахаровском центре в Москве — «Осторожно, религия!» (2003) и «Запретное искусство 2006», — являются новаторскими в этом контексте. Организаторы были признаны ответственными за разжигание религиозной, национальной и расовой ненависти. Рассматривая статус и роль свидетелей в этих процессах, докладчица убедительно описала цели суда и стратегии их достижения, подчеркивая необычное количество

театральных приемов, взятых из инсценировок процессов 1930-х годов, с дополнительными элементами, продиктованными реалиями нашего времени. Поскольку свидетели обвинения не могут быть адекватно описаны существующими категориями свидетелей, Фриммель выдвинула новую категорию, типичную для российских процессов по делам искусства: «*impact witness*» (воздействующий свидетель), по мысли докладчицы, представляющую собой обновленную версию советского «свидетеля сознания» (*witness of consciousness*, термин Дж. Фрёлхер и С. Сассе<sup>4</sup>), созданного в агитсудах в 1920-х годах.

По мнению Фриммель, специфическая фигура воздействующего свидетеля оказывает решающее влияние на характер современных судебных процессов по делам искусства и, как и свидетель сознания, является коллективным свидетелем, активно проявляющим инициативу по подаче жалоб, обвинений или по участию в судах. По словам Фриммель, «*impact witness* — это еще одна модель свидетельствования в тоталитарных государствах наряду со свидетелем сознания». Однако докладчица напомнила и примеры художественной реапроприации зала суда искусством, например акцию Петра Павленского «Свобода», в рамках которой художник использовал процедуру обвинения, превращенную им в художественный процесс, конечной целью которого было выявление произвола судебной системы.

Тем не менее заключительные замечания, озвученные в докладе, довольно пессимистичны: по мнению Фриммель, характер дачи показаний в российском правосудии практически не изменился от советского к постсоветскому контексту, который все еще находится под сильным влиянием советской эпохи, и понимание свидетельствования в нем скорее идеологическое, чем юридическое (то, что можно обозначить как свидетельствование о сознании или о влиянии события). Как показали в своих выступлениях многие участники конференции, несанкционированные выступления в суде сегодня встречаются в основном в заявлениях подсудимых, которые, как и герои процессов над современным искусством, отказываются играть в игру по правилам, не соответствующим ни морали, ни этике, ни ценностям демократии.

Кроме открыто заявленных целей конференция предоставила возможность подвести некоторые важные итоги и сформулировать тезисы, которые в будущем смогут дополниться новыми рассуждениями: о различии в практике свидетельствования в разных странах, входивших в состав бывшего Советского Союза; о необходимости на уровне терминологии постоянного уточнения концепции свидетельствования, применимой в разных контекстах; о дальнейшем обсуждении эпистемологического значения свидетельствования в определенных системах, в частности в трех разных, но концептуально связанных пространствах: в правовых институтах, в историографических дискуссиях о трактовке преступлений против человечества и в художественных произведениях.

Следует также отметить, что не все вопросы, поднятые Ольгой Розенблюм во вступительном слове, получили достаточное внимание: утратила ли значение знаменитая реплика Солженицына Шаламову «Литературе надо доверять, в отличие от документов, которые могут быть подделаны»? отличается ли свидетельствование «против» от свидетельствования «за» в отношении его формы и вида? каким было свидетельствование антисоветских активистов, которые, по многим оценкам эмигрантских журналов 1970-х и 1980-х годов, воспроизводили советские модели поведения,

---

4 В немецком языке используется слово *Bewusstseinszeugen* в противоположность *Bekennniszeugen*. См.: Frölicher G., Sasse S. Das “richtige” Sehen: Zeugen im sowjetischen Gerichtstheater // Zeugen in der Kunst / Hrsg. von S. Krämer, S. Schmidt. Paderborn: Wilhelm Fink, 2016. S. 61–83.

в том числе социальные? как меняется подход исследователя в современном контексте, характеризующем изобилие и доступность аудиовизуального материала, в том числе свидетельского характера? Подобные вопросы — хороший сигнал, демонстрирующий необходимость таких событий и важность междисциплинарного подхода к разработке новых ответов на вызовы — не только научные — XXI века.

*Джулия Де Флорио*

## Международная научная конференция «**Translatio studii: тексты, контексты и люди**»

*(Лаборатория историко-литературных исследований, Лаборатория историко-культурных исследований ШАГИ РАНХиГС при участии ИВГИ РГГУ им. Е.М. Мелетинского, 13–14 октября 2023 года)*

DOI: 10.53953/08696365\_2024\_186\_2\_408

У большой двухдневной конференции, первый день которой прошел в стенах РАНХиГС, а второй — в зуме на площадке ИВГИ РГГУ, было три темы: «Переводим классиков сегодня»; «Текст и комментарий» и «Перемена места и поиск (само)-идентичности в русской и европейской культуре». Началось все, как и полагается, с классиков.

Конференцию открыла *Вера Мильчина* (ИВГИ РГГУ / ШАГИ РАНХиГС, Москва) докладом, название которого на первый взгляд кажется парадоксальным: «*“А безвидный Хаос — неографию?”: должен ли переводчик понимать смысл переводимых слов?*». Казалось бы, ответ очевиден: а как же иначе? Однако в тех случаях, когда переводчик ограничивается транскрипциями переводимых терминов, понимания, как выясняется, можно избежать. Можно, но не нужно. Докладчица показала это на примере романа Шарля Нодье «История короля Богемии и его семи замков» (1830). Этот стернианский роман, не только название, но и многие приемы которого заимствованы из «Тристрама Шенди», никогда не переводился на русский язык (да и ни на какой другой, кроме испанского); докладчица готовит его перевод для издания в серии «Литературные памятники». Нодье, пожалуй, пошел даже дальше Стерна: повествователь у него разделяется на три ипостаси (лирического Теодора, педанта Дона Пика де Фанферлюкио и шута Брелока), одна глава целиком состоит из звукоподражаний, место сквозного сюжета занимает соперничество разных жанров внутри романа, а внутри этих вставных жанров происходит регулярная замена синтагмы на парадигму: Нодье нанизывает цепочки из нескольких десятков имен, глаголов, прилагательных, вплоть до перечня двух сотен названий насекомых. В число вставных произведений входит некое «Похвальное слово госпоже туфле»; оно именуется гениальным, однако проверить это невозможно, поскольку читавший его вслух заснул от скуки, и «Похвальное слово» сгорело в пламени свечи. Оплакивая его пропажу, повествователь перечисляет тридцать пять изобретений, названия которых оканчиваются на «-графия» (какография, технография, стеганография и др.) и которые, по его мнению, все оказываются бесполезны, коль скоро «Похвальное слово госпоже туфле» не сохранилось.